

Сценарий для Феллини

Уходящая натура

Мы обнаружили этого мальчика на заднем дворе у входа в полуподвал, где помещалось домоуправление. Такого мальчика никому из нас еще никогда в жизни видеть не приходилось.

— Это что у тебя? — спросил Гага и подергал за длинный завитой локон, свисавший у мальчика на висок из-под синей суконной фуражки.

Светлые глаза мальчика налились слезами. Он пожал плечами и ничего не ответил.

Я догадался, что это за локоны, — просто до этой минуты я был уверен, что таких мальчиков давно нет на свете, и встретить их можно только в рассказах Шолом-Алейхема, которые я читал позапрошлым летом.

— Тебя как зовут? — снова спросил Гага.

— Нахум, — едва слышно ответил мальчик.

— На х...! — Гага громко расхохотался.

Гага, которого на самом деле звали Егором, был сыном дворничихи Петровны. Он был известным хулиганом, даже взрослые его побаивались.

— А что я с ним поделаю! — кричала тощая, похожая на вяленую рыбу Петровна, когда кто-нибудь жаловался ей на сына. — Отец жив был — лупил смертным боем, а я что могу?! Пойдет воевать или в тюрьму, там умудуму научат!..

Она утирала глаза грязным белым фартуком. Отца Гаги, прежнего нашего дворника, убили на фронте в первый же месяц войны.

— Ну, что ты к нему пристал? — сказал Анга и положил на плечо Гаге огромную ладонь, вызывавшую у меня зависть.

Анга был сильнее всех ребят нашего двора, возможно, даже всех ребят, обитавших на нашей улице Сталина.

Мальчик с локонами на висках, в синей суконной фуражке, коротком пальтеце, с холщовой котомкой за плечами жался к стене у входа в полуподвал. Мы трое обступили его. Он был младше нас, лет десяти-одиннадцати, и заметно мельче — узкие плечи, бледное лицо с нежным румянцем на скулах, тонкие руки.

Стоял ясный денек ранней сибирской осени: неяркое солнце, свежий прозрачный воздух, в котором предметы гляделись объемом, и все цвета

вокруг обозначались не насыщенно, но четко, — бледная голубизна неба и маслянистая зелень штaketника, отразившиеся в налитой ночным дождем луже, золото длинных иголок лиственницы, уже начавших осыпаться в соседнем — детсадовском — дворе.

— Ты что — эвакуированный? — спросил Анга и кивнул на вход в полуподвал, где помещалось домоуправление.

Мать Анги Алиса Эдуардовна была у нас управдомом. Я помнил и его отца, латышского стрелка, такого же рослого, широкоплечего и светловолосого, как Анга, ходившего в длинной, чуть не до земли, шинели и остроконечном, с большой красной звездой на лбу, красноармейском шлеме, — стрелок сумел умереть своей смертью, не дождавшись тридцать седьмого года.

— Выковыренный? — засмеялся Гага и снова потрепал пальцем локон на виске мальчика.

Мальчик испуганно смотрел на нас и молчал.

— Он не понимает, — сказал я.

— Нерусский, что ли? — удивился Гага.

— Не понимает, — повторил я, не вдаваясь в подробности.

— Ты откуда? — Анга показал двумя пальцами идущего человека.

— Польша, — тихо сказал мальчик.

— Польша? У кого больше, тот и пан?.. — Гага снова захохотал.

Он достал из кармана обсыпанный табачными крошками белый мятный пряник и протянул мальчику: "Хавай".

Уже ввели карточки, но голодное время полной мерой еще не коснулось нас. Скоро мы узнаем подлинную цену пайки хлеба и пригоршни сахарного песка, в школе на большой перемене нам будут давать в качестве бесплатного завтрака по полстакана кедровых орехов. Полученный по талону ржаной пирог с жесткой горбушей, засоленной так, что на поверхности белели кристаллы соли, покажется лакомством. Однако и в тот день, о котором идет речь, мятный пряник уже почитался большой ценностью — просто так не купишь, так что неожиданный жест Гаги был несказанной щедростью.

Мальчик с каким-то отчаянием посмотрел на белый рифленый кружок, лежащий на грязной Гагиной ладони, снова поднял глаза и еле слышно то ли спросил, то ли сказал:

— Кошер?..

Мы переглянулись.

— Чегой-то он несет? — Гага повернулся ко мне, к Анге. — Думает, мы кошек тут, что ли, едим. Вот дикие! Да ты бери. Мятный... — он сунул пряник мальчику в карман пальто.

Мальчик пожал плечами и улыбнулся. В глазах у него были слезы.

— Что это он? — спросил меня Анга. — Правда, будто с луны свалился.

— Может быть, по-немецки с ним поговорить? — предложил я. — Еврейский язык похож на немецкий...

Из двери полуподвала выбрался Семен Моисеевич по прозвищу Котовский. Толстый, с обритой наголо большой круглой головой, он и в самом деле походил на означенного всенародного героя, каким его изображали на картинках. Семен Моисеевич тоже воевал в гражданскую, был в кавалерии и любил рассказывать, что сам Буденный после какого-то боя похвалил его: "Хорошо рубишь, тезка!".

— Мы ведь с Буденным — тезки, — непременно прибавлял он. — Только он Семен Михайлович, а я Семен Моисеевич.

Наш Котовский был член домового комитета и заядлый общественник.

— Ничего не выходит, ребята, — обратился он к нам, будто полагая, что мы в курсе дела. — Придется им дальше ехать. Алиса Эдуардовна так старалась, и туда звонила, и сюда, и не знаю куда, чтобы как-нибудь их здесь оставить, — всюду один ответ: ехать согласно предписанию. Конечно, предписание есть предписание, документ, — Семен Моисеевич произнес слово с ударением на "у" и значительно поднял вверх палец, — но что значит "согласно предписанию", если предписание у них в К., это еще шестьсот километров, а на вокзале сидит мать с двумя больными малыми детьми, и как туда в К. ехать, и когда, и на каком поезде, и что кушать по дороге, никто толком не может сказать...

Он нагнулся к мальчику и, задыхаясь, начал что-то быстро объяснять ему по-еврейски (тогда почти все, и моя бабушка, у которой я жил в этом городе, тоже называла идиш "жаргоном"). Мальчик, широко раскрыв глаза, с отчаянной надеждой смотрел в его круглое красное лицо.

Появилась Алиса Эдуардовна и с ней отец мальчика, едва доходивший ей до плеча рыжебородый человек в посеревшем от возраста черном пальто с большими пуговицами и черной шляпе. У него были такие же, как у мальчика, ясные, светлые глаза.

— К сожалению, ничего больше сделать для вас не в силах, — сказала Алиса Эдуардовна. — Что могла...

Ее строгое лицо по обыкновению казалось непроницаемым. Она протянула собеседнику руку. Отец мальчика принял ее крупную руку обеими руками:

— Что вы, что вы! Такое вам спасибо! Такое спасибо!..

— Что могла, — повторила Алиса Эдуардовна. — Доброго пути... Я на

санэпидстанцию, — это уже Семену Моисеевичу. — А вы не торчите во дворе. Идите уроки делать, — это, конечно, нам. — Анга, учти, вечером проверю математику за два дня.

— У меня все в исправности, — спокойно ответил Анга.

— Об этом я тебе скажу...

Застегивая на ходу свою вечную кожаную куртку, Алиса Эдуардовна широким четким шагом направилась к воротам.

Отец мальчика обвел нас улыбающимися глазами:

— Ой, как жаль, как жаль, как жаль, — заговорил он слегка нараспев, но при этом торопливо сглатывая слова. — Такие могли быть у тебя хорошие товарищи, — он потрепал плечо сына. — Смотри, такие большие, сильные. С такими никто не обидит. Нахум у меня очень хороший мальчик. А как в шашки играет! Всегда выигрывает. Но что делать! Дорог много, а судьба одна...

— А вы откуда будете? Из Польши, что ли? — спросил Гага.

— Откуда? Вы будете смеяться, молодые люди, но откуда уже нету, осталось только куда.

— У вас в К. есть кто-нибудь? Какие-нибудь родные? — спросил я, потому что сам жил у бабушки.

— Родные? Разве эта женщина, — он показал в сторону удалявшейся Алисы Эдуардовны, — мне не родная? И вы, дети, разве мне не родные? И он? — отец мальчика кивнул на Семена Моисеевича. — Завтра в К. добрые люди дадут нам кусочек крыши над головой и станут наши лучшие родные.

Когда он улыбался, во рту у него белел ровный рядок мелких зубов.

— А чем вы занимаетесь? — поинтересовался Анга. — Где работаете?

— Чем занимается человек? Ловит счастье. Вот так... — отец мальчика взмахнул рукой, будто ловил что-то в воздухе, и вдруг между указательным и средним пальцами его белой руки оказалась медная пятикопеечная монета. — Но счастье можно только ловить, поймать его нельзя. Только ты обрадовался, что поймал, — его уже нет...

Он разжал пальцы: в руке у него ничего не было.

— Потрясно! — восхитился Гага. — Циркач, что ли?

Вниз по нашей улице на небольшой площади был разбит цирк-шапито. В известных нам местах, где брезент покрыва не был плотно закреплен у земли, мы пролезали в помещение и, забившись где-нибудь на верхотуре, смотрели все одно и то же представление, которое давали уходящим на фронт красноармейцам.

— Тателе, пошли, — потянул мальчик отца за рукав и прибавил что-то непонятное.

Гага сунул руку в карман, достал еще один мятный пряник (пек он их там, что ли?): "Держите". Помедлил, снова полез в карман, достал еще пряники, сразу два (похоже, минувшей ночью он со своими друзьями с Заречной стороны навестил какой-нибудь продуктовый ларек): "Вот — еще"...

— Ой, молодой человек, молодой человек! Вы еще сами не понимаете. Когда у вас будет такая борода, как у меня, только совсем белая, вы будете приятно вспоминать этот день. Это я вам говорю.

— Пошли, — мальчик снова потянул отца за рукав. В глазах у мальчика была тоска. — Там мамеле ждет...

И он снова залепетал что-то непонятное.

— Здесь шестьдесят рублей, — Семен Моисеевич протянул отцу мальчика две красных тридцатирублевых ассигнации. — На них еще можно купить что-нибудь. Там, у вокзала, бабы продают яблоки. Так вы берите не румяные, а зеленые, — зеленые сочнее...

Отец взял мальчика за руку, и пока они пересекали широкое пространство двора, я видел, как он, склонившись к сыну, что-то горячо говорил и говорил ему. Мальчик слушал, подняв к нему голову, и от его узенькой спины с подвешенной на ней серой котомкой веяло непереносимым отчаянием.

— Когда-то и я был таким мальчиком, — глядя им вслед, сказал Семен Моисеевич, — рос в местечке и учился в хедере разным глупостям. Но потом, слава Богу, попал в город, на завод. А потом революция, и — "По коньям!". Даже не думал, что остались еще такие местечки, такие мальчики. Ну, да победим врага, все по-своему переделаем...

Послышалась приближающаяся военная песня, ровный стук о землю сотен обутых в тяжелые солдатские сапоги ног. Мы вышли за ворота. Слева, уже вдалеке, виднелись две удалявшиеся в сторону вокзала фигурки. Отец держал сына за руку и, склонившись к мальчику, все толковал ему что-то. А следом, с другого конца улицы, заполняя ее, вслед им двигалась нескончаемая военная колонна, новые, не сношенные еще подметки крепко, в лад, печатали шаг, обтянутые серым сукном шинелей плечи чуть покачивались в такт шагу, и казалось, раздвигали в стороны стоявшие вдоль улицы слева и справа дома. Тысячи грудей, вдыхая свежий осенний воздух, дружно выкрикивали бравые слова песни: "Пятьдесят вторая, боевая, сибирская стрелковая дивизия идет..."

Прощальный романс

История смешная и грустная, нелепая, может быть, мистическая. Она началась в двухместном купе скорого поезда — с поэтом Валентином Берестовым мы возвращались из Крыма. Там мы выступали перед юными читателями в пионерском лагере "Артек", в нескольких школах на Южном берегу. В Москве, судя по сводкам погоды, нас ждала уже полновесная осень. Крым одарил нас десятью днями особенного, густого и ласкового осеннего солнца, сверкающим теплым морем, белыми прогулочными теплоходами, над которыми летали чайки и мощногрудые альбатросы, охристыми виноградниками на склонах гор, неторопливыми вечерними променадами по ялтинской набережной, где то и дело попадался навстречу кто-нибудь из московских знакомых, сухим вином и чебуреками в не слишком опрятных закусовых Гурзуфа и Симеиза. Душа расправилась, не была обременена заботами и тревогами, которые мы, оберегая последние часы душевной свободы, почти бессознательно отодвигали до прибытия в столицу, — в вагоне мы весьма беспечно беседовали, вспоминая разные занятные происшествия (жизнь Берестова наполнилась интересными встречами), много шутили и смеялись.

Незадолго перед тем у Валентина Берестова вышла книжка: не стихи — повести про археологию и археологов ("Два огня" — так, кажется, она называлась); он окончил исторический факультет, ездил в экспедиции. В отрочестве Берестов показал свои первые поэтические опыты Корнею Ивановичу Чуковскому, тот признал мальчика очень талантливым, ввел в круг лучших наших писателей. Берестову посчастливилось с юных лет беседовать с Анной Андреевной Ахматовой и Надеждой Яковлевной Мандельштам, с Алексеем Толстым и Маршаком, Михаилом Светловым и Ираклием Андрониковым.

Тогда, в поезде, Валя пожаловал мне свою книгу, а заодно поведал (очень поучительная байка!), как сделался археологом. Собирался он, понятно в Литературный, и ни у кого из его знаменитых старших приятелей не возникало сомнения, что только туда ему и дорога. Но однажды на каком-то обеде или ужине у Алексея Толстого к юноше стал внимательно приглядываться известный медик академик Сперанский (их было два — педиатр и патофизиолог, не помню, какой из них). "Я был неопытен, — рассказывал Валя, — мне льстило, когда в обществе известнейших литераторов меня просили почитать стихи, изобразить кого-нибудь. (Берестов

хорошо передавал голос и манеры других людей.) Вот и в тот вечер я читал, изображал и радовался успеху. Но академик Сперанский увидел происходящее иными глазами. Улучив минуту, он отозвал меня в сторону и доверительно сказал: "Молодой человек, вас здесь выпьют с чаем". И хотя все ко мне относились уважительно, более того, любовно, я, слушая Сперанского, вдруг вспомнил мальчика Паву из чеховского "Ионыча", — помнишь, когда собирались гости, ему говорили: "Пава, изобрази!". И я поступил на исторический".

Позже я не раз слышал от Берестова еще одну занимательную новеллу — то ли действительный случай, то ли сочинил себе и другим в назидание. Однажды в каком-то журнале, проглядывая от нечего делать ответы на кроссворд, помещенный в предыдущем номере, он под одним из чисел обнаружил: "Берестов". Ого! Кроссворд в издании, выходящем многотысячным тиражом, это, наверно, — уже слава! Тотчас поспешил в библиотеку — заглянуть в предыдущий номер. Как там сформулировано: "Современный поэт" или "Известный поэт", или, может быть, что-нибудь еще более лестное? Но в журнале под названным числом значилось: "Персонаж повести Пушкина "Барышня-крестьянка". "Прекрасная пилюля от зазнайства!" — заключал новеллу Валентин Берестов.

Но свои стихи он всегда читал охотно. Тогда, в поезде, — за окном уже стемнело, только узкая палевая полоска помогала отделить землю от неба, — мы не зажигали света: Валя читал и читал, его стихи всегда радовали меня открытым искренним видением мира, легким дыханием, доброй улыбкой, которая с годами обретала мудрость, но притом умела оставаться детской. В какой-то момент он надолго замолчал, словно припоминая что-то важное, что непременно следует еще прочитать, — в тишине явственно слышно было, как стучат колеса, как на купейном столике звенят ложечки в опустевших чайных стаканах, время от времени в окно врывается пунктирно разорванный свет фонарей на каких-то станциях и разъездах, которые мы проезжали. В темноте круглое мягкое лицо Берестова казалось еще бледнее, чем обычно.

"Ну вот, напоследок, совсем недавнее", — проговорил он наконец. Прочитанные им восемь строк поразили меня настроением, глубиной, точностью, — я запомнил их сразу и навсегда.

Я поле жизни перешел
И отдохнуть присел.
Там одуванчик тихо цвел,
И жаворонок пел.

И так мне было хорошо,
Что я забыл почти,
Что поле жизни перешел
И дальше нет пути.

"Напиши мне эти стихи", — попросил я. И Берестов записал восемь строк на обороте обложки подаренной перед тем книги.

Прошло несколько — нет, не лет, — десятилетий. Стихи жили в моей памяти. В минуты трудных раздумий я нередко повторял их. Однажды, уже в 1990-х, при встрече, почти случайной, Валентин Берестов сказал мне, что собирает двухтомник. "А мое любимое там будет?" — спросил я. "Это какое же?" Я прочитал ему восемь строчек. "Какие хорошие стихи! — воскликнул Валя с той простодушной радостью, с какой часто говорил о своей работе. — Подумай, а я совершенно позабыл их". Он вдруг озабочился: "Автограф у тебя сохранился?" — "А как же. Подписанный. Могу предъявить".

На другое утро он долго рассматривал автограф, несколько раз, вслух и про себя, повторил стихи, пожелал было переделать две последние строчки. Я просил его оставить как есть. В "Книжном обозрении" вместе с объявлением об издании собрания сочинений Валентина Берестова были напечатаны стихи из будущей книги, среди них — и "мои" восемь строк, мне посвященные, что, признаюсь, очень меня обрадовало.

А потом Валя умер. Не скажешь — неожиданно: он многие годы недомогал сердцем, но для всех нас — нежданно.

Собрание стихотворений Валентина Берестова увидело свет уже после смерти автора. Об этом мне сообщил по телефону другой хороший поэт — Евгений Храмов. С Женей мы были давними добрыми приятелями. Вдобавок и жили по соседству: по несколько раз на дню я пробегал мимо его подъезда, отмеченного темно-серой мемориальной доской с портретом знаменитого полярного радиста Эрнста Кренкеля. Люсю Кренкель, дочь прославленного полярника и жену поэта Храмова, я знаю с детства, помню еще в дошкольную пору, когда она в прозрачной тунике, то ли лиловой, то ли малахитово-зеленой, танцевала с другими девочками-босоножками из студии Айседоры Дункан на сцене нашего домового клуба и казалась мне ужасно взрослой.

Женя, большой, полный, несуетливый, на людях держал себя вальяжно, барственно, — эта маска баловня, бонвивана, позволяющего себе поступать так, как он пожелает, а не так, как от него требуют, помогала ему сохранять достоинство в трудное время почти повседневной необходи-

мости нравственного выбора. Он был замечательно образован, интеллигентен, подвижен умом и словом, беседа с ним приносила удовлетворение взятым духовным уровнем и оставляла послевкусие душевной радости. Мы не раз путешествовали вместе — пушкинское Болдино, Спасское-Лутовиново, Северный Кавказ, места сибирской декабристской ссылки. В гостиничном номере он умел часами, вроде бы беспечно фар ниенте, валяться на кровати, поверх одеяла, вполне одетый — совсем не новый, но всегда презентабельно выглядевший темный костюм, неизменно белая рубашка и галстук: расположив на груди небольшую дорожную шахматную доску (он был отличный шахматист), Женя исследовал расставленную позицию и одновременно беседовал о литературе, истории, политике, читал стихи, свои и чужие. Он ценил творческие удачи других поэтов (даже тех, кого не жаловал лично), говорил о таких удачах взволнованно, искренне восхищался ими; благодаря ему мне много прекрасного открылось в стихах современных поэтов.

Женя Храмов позвонил и сказал: "Прости мне, но я вынужден отобрать у тебя стихи, тебе посвященные. Дело в том, что восемь строк про поле жизни написал не Валентин Берестов, а я". Стихотворение много лет назад было опубликовано в каком-то периодическом издании, позже напечатано в одном из поэтических сборников Евгения Храмова. Он даже попенял мне за то, что я не заметил стихотворения в книге, им подаренной. А я и вправду не заметил, хотя стихи Жени люблю и читаю охотно и внимательно. Наверно, потому и не заметил, что с того давнего вечера в вагоне крымского поезда это были для меня — берестовские стихи. Так же, как для самого Берестова. Мог ли он сам напечатать их в газете и поместить в собрании сочинений, если бы хоть на минуту усомнился в этом?

Высочайшие нравственные достоинства Валентина Берестова всем хорошо известны. Валентин Берестов присвоил себе восемь храмовских строк, присвоил в том смысле, что, прочитав однажды где-то, тотчас неосознанно почувствовал их своими, вобрал душой, памятью, постоянно носил в себе, свылся с ними. Произошло поразительное — полное совпадение мысли, настроения, образной системы двух поэтов. Один сказал то, что хотел бы сказать другой, и сказал так, как другой мог бы сказать. Валя был щедро одарен творчески, полнился стихами, восемь присвоенных им строк на какое-то время оказались захвачены этим постоянным движением творческой стихии. (Он был к тому же и очень рассеян: тогда, в Крыму, пожаловался мне, что не может справиться с приобретенной электробритвой, — они как раз вошли в обиход: вместо того чтобы

брить, она "поет". Оказалось, он включал бритву вместо электрической в розетку радиоточки.)

Позже все, видимо, как-то упорядочилось: Валя отстранился, отвык от стихотворения про поле жизни, исключил его из числа своих сочинений, попросту забыл. Но тут оказался я, да еще с автографом, и убедил его — моя вина. Кажется, Евгений Храмов вел переговоры с наследниками Берестова, просил опубликовать поправку. Но скоро и Женя умер — тоже совсем, совсем неожиданно. Если (ныне модны такого рода предположения) Женя и Валя в самом деле беседуют где-нибудь в ином мире, выяснение обстоятельств этой истории вряд ли отнимет у них много времени. Двум поэтам есть о чем поговорить.

Композитор Иван Соколов, хорошо знакомый и с Берестовым, и с Храмовым, положил любимые мной восемь строк на музыку, романс он тоже посвятил мне. Музыка печальная, чистая, светлая: слушая тихое дыхание одуванчика и песнь жаворонка в вышине, хорошо вспоминать прошлое, думать о будущем, беседовать с друзьями, теми, кто уже перешел поле жизни, и теми, кто еще бредет по нему, — первых, увы, уже куда больше, чем вторых...

Сценарий для Феллини

Эта история произошла полвека назад, в июне 1949-го. Вся страна праздновала 150-летие со дня рождения А.С. Пушкина. Понаехали и зарубежные гости, тогдашние прогрессивные деятели мировой культуры. Повсюду проходили торжественные мероприятия, особое внимание уделялось памятным местам, так или иначе связанным с жизнью и творчеством великого поэта. К таким местам относится и Грузия, в ту пору тоже — "наша страна". Пушкин, как известно, побывал на этой прекрасной земле, направляясь в Арзрум, и даже написал стихи "На холмах Грузии лежит ночная мгла..."

На праздники в Грузию направилась солидная делегация, в составе которой были и весьма именитые иностранные представители. Всякого рода торжества в Грузии отличались в те времена особенной щедростью изобретения и исполнения. Не забудем, что это была родина вождя. Каждый город, каждый населенный пункт на пути следования делегации должен был встретить ее чем-то незаурядным, запоминающимся. Не говоря о шампльках и отменном красном вине.

Маршрут делегации проходил, в частности, через большое село, стоя-

щее на шоссе. Программой предполагалось, что почетные гости надолго здесь не задержатся, но все же останутся на четверть часа пообщаться с народом и обменяться с ним соображениями о поэтическом наследии юбиляра. И требовалось что-то поднести дорогим гостям кроме хлеба-соли и самодеятельного ансамбля песни и танца, заученно двигавшегося каждый календарный праздник под ритмичные похлопывания ладоней по натянутой барабанной шкуре. Местные власти мучительно бились над этой задачей, пока кому-то из тамошних руководителей не пришла в голову поистине замечательная мысль.

В селе жил человек, очень похожий на Пушкина. То есть, может быть, не на самого Пушкина, но на его портреты, бюсты и памятники в рост. Дети-школьники, хорошо знакомые с внешностью поэта по книгам и учебникам, встретив этого односельчанина на улице, бежали за ним и дразнили: "Пушкин! Пушкин!" — что очень его сердило. После некоторых раздумий у отцов селения сложился следующий режиссерский план встречи делегации.

Машины останавливаются на площадке перед Домом культуры. Деятели литературы и различных искусств выходят из машин и застывают в изумлении. Перед ними на высоком постаменте, окруженном народом, стоит живой Пушкин. Он стоит точь-в-точь в такой позе, как на широко известном московском памятнике: одна рука за отворотом пальто, в другой шляпа. Он громко читает сверху навстречу подходящей делегации стихотворение "Кавказ подо мною". Появляется председатель сельсовета с хлебом-солью и его заместители, несущие в руках наполненные вином роги. Когда чтение заканчивается, вступает в дело ансамбль, вовлекая членов делегации и всех присутствующих в исполнение национальных песен и танцев.

Сельчанин, похожий на Пушкина, пробовал сопротивляться, но, когда ему кое-что пообещали, кое-чем пригрозили, уныло согласился. Сложность состояла в том, что будущий Пушкин почти не знал русского языка. К нему приставили молодую учительницу, недавнюю выпускницу пединститута. Председатель сельсовета посчитал количество строк стихотворения "Кавказ" и разделил на число дней, оставшихся до праздничного действия: "Чтоб каждый день три строчки учил". Юная наставница Пушкина согласно склонила голову: "Только скажите ему, пусть перед занятиями чеснок не чешает"...

Жена председателя сельсовета, правда, без охоты, согласилась выдать для экипировки великого поэта праздничное коричневое пальто мужа

и его зеленую фетровую шляпу, но только в самый день торжества. Репетировал Пушкин в брезентовом плаще экспедитора, держа в руке за спиной шляпку учительницы русского языка, что казалось ему страшно унижительным. Выучить он сумел лишь первые шесть строк стихотворения, но так как читал он их медленно, поочередно вспоминая каждое слово, решили, что этого хватит.

Наконец настал долгожданный день. Из района сообщили по телефону, что делегация должна прибыть к часу, что встреча должна пройти на высоком уровне и не затягиваться, — к шести гостей ждут в Тбилиси, где состоится торжественное заседание в Театре оперы и балета имени Руставели.

Народу было приказано сходить на площадь заранее, часам к одиннадцати. Посреди площади возвышался пьедестал, сложенный из кирпича. Его сделали раза в два выше московского. Чтобы Пушкин мог взобраться наверх, к пьедесталу подставляли лестницу, которую потом убрали. Пушкин стоял на фоне неба, как столпник, в коричневом пальто председателя, со своей курчавой головой и нарисованными жженой пробкой бакенбардами и, шевеля губами, повторял трудно дававшиеся ему бессмертные слова стихотворения, которые должен был прокричать вниз.

К часу делегация не появилась. Люди, собравшиеся на площади, обсудили все последние сельские новости, — сделалось скучновато. Наименее сознательные уходили прочь, воровато оглядываясь. Солнце припекало, день стоял безветренный, душный. Участники ансамбля, мужчины в черкесках с газырями и женщины в длинных черно-белых платьях, ушли в тень на террасу Дома культуры. Старики курили на ступеньках крыльца. Из района, куда около двух с трудом дозвонился председатель, сказали, что график движения делегации сильно ломается. В А. застолье очень затянулось и в Б. тоже, а в В., где находятся сейчас гости, никак не удается прекратить концерт самодеятельности.

По лицу Пушкина, смывая краску бакенбард, стекали черные струйки пота. Он потребовал, чтобы его пустили сходить по нужде. "Одна нога там, другая здесь, — строго сказал председатель, сам подтаскивая лестницу. — Делегация появится с минуты на минуту. Стихи повторяй". Справив нужду, Пушкин подбежал к бочке с дождевой водой и окунул в нее свою курчавую голову. Оказалось, что делать этого было не нужно. Едва он возвратился на пьедестал, из набежавшей тучки полил еще по-весеннему быстрый дождь. Женщины, задержавшиеся было на площади, с громким квохтаньем стали разбегаться. Мужчины деловито следовали за ними, быстро, как в национальном танце, перебирая ногами. И тут появились машины.

Первым увидел их Пушкин с высоты своего пьедестала. "Едут!" — закричал он. И забормотал эти неподдающиеся: "потоков рожденье", "обвалов движенье"... Председатель с хлебом-солью тотчас возник на ступенях крыльца и закричал отчаянным голосом: "Все назад!". Заместители заливали вином роги. Ансамбль посыпался с террасы, на ходу выстраиваясь в ряд. Сверкающая колонна омытых дождем черных лимузинов вырвалась на площадь и, не притормозив, мчалась дальше. Фиоритурные начальственных клаксонов, кажется, не столько приветствовали народ, сколько распугивали неосторожных, оказавшихся на асфальте шоссе.

В первое мгновение никто не в силах был постигнуть, что же произошло. Председатель так и застыл со своим подносом. Два заместителя застыли по обе его стороны с рогами, вздетыми вверх. Застыли участники ансамбля, расправившие уже руки в танце, наподобие крыльев орла, и сельчане, начавшие было сбегаться обратно на площадь. А в следующее мгновение, когда последняя машина, не черная, а серая, видно, с обслугой, промелькнула мимо, Пушкин с мокрой курчавой головой, страшно вскрикнув, ринулся вниз с пьедестала. Он упал, пачкая в земле и пыли праздничное коричневое пальто председателя, но тотчас вскочил на ноги и, ковыляя, побежал по шоссе вслед за колонной. На бегу он громко ругался по-грузински и по-русски. Время от времени останавливался, хватал с обочины камень или ком земли и бросал вслед колонне, уже давно скрывшейся из глаз. "Кавказ подо мною!.. — кричал он, задыхаясь и бросая камни. — Один в вышине... Отдаленный поднявшись... Рожденье, б... движенье..." Так бежал он, пока не рухнул в изнеможении, приведя в состояние полной негодности парадное коричневое пальто председателя сельсовета.

Вот такая история. Как говорится, за что купил... Мне всегда хотелось предложить ее Феллини. Но встретиться с ним так и не пришлось. Как, впрочем, и с Антониони.

Кельн

